

ПУШКИН И КНИГА ЖАКА АНСЕЛО «ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ В РОССИИ»

Л. ВОЛЬПЕРТ

С Россией первой половины XIX в. французы знакомились, главным образом, по путевым запискам Жермен де Сталь («Десять лет в изгнании», 1821), Жака Ансело («Шесть месяцев в России», 1827) и Астольфа де Кюстина («Россия в 1839 году», 1843). Три дорожные дневника связаны генетически, но эта связь (иногда в форме противопоставления) не описывалась. Дорожные записки де Сталь и Кюстина привлекали внимание исследователей; книга Ансело практически не изучена. Единственная посвященная ей статья Н. М. Волович (5)* фактически касается не самой книги, а отзывов на нее П. А. Вяземского и Я. Н. Толстого. А между тем ее значение немаловажно: в ней впервые иностранному читателю открывалась широкая картина жизни России первой четверти XIX в.

В начале XIX в. представление французов о России было самое темное, оно складывалось большей частью из разного рода отрицательных мнений, фантастических слухов и легенд, в целом составивших своеобразный негативный миф о России. В книге Жозефа де Местра «Санкт-Петербургские вечера» (1821) детали русской жизни практически отсутствуют (что диктуется жанром беседы на религиозно-философские темы). Автобиографические произведения Сегюра, Жомини, Сен-Сира и других военных специалистов создавали специфическую картину: перед читателем возникала увиденная лишь в ракурсе

* Сноски и ссылки даются в тексте в скобках. Первая цифра, отделяемая от остальных точкой, обозначает номер по списку литературы, приведенному в конце статьи. Следующие — страницы, между которыми стоят запятые. При необходимости указать том, он обозначается цифрой за номером. Перевод французских текстов — мой.

войны Россия времен наполеоновской кампании. Русскому народу, по словам Пушкина, «вечному предмету невежественной клеветы писателей иностранных» (1. 11. 27), доставались либо вымышленные, либо неточные или негативные характеристики. Чтобы преодолеть привычные штампы, от писателей требовалась изрядная творческая энергия, первыми ее проявили де Сталь и Ансело.

Книга «Десять лет в изгнании» пронизана симпатией и уважением к русскому народу, с которым писательница связывала надежды на разгром Наполеона. Ее положение чрезвычайно сложное: патриотка Франции, она жаждет поражения французских войск. Враждебность к гонителю Бонапарту определила во многом страстность ее путевых записок. Она с благодарностью пишет о доброжелательстве простых людей по отношению к чужестранке-француженке, восхищается художественной одаренностью народа, отмечает реалии, детали быта, черты поведения, из которых складывается русский национальный характер. Однако она не стремится нарисовать широкой картины жизни страны, дать детального представления о социальном устройстве, институтах и аппарате власти. Ее больше интересуют вопросы русской истории, становление государственного устройства России, пагубная сущность крепостничества. В этом принципиальное отличие ее книги от путевых записок Ансело.

Жак-Арсен-Франсуа-Поликарп Ансело (Jacques-Arsène-François-Policarpe Ancelot, 1794–1854), французский поэт, драматург, прозаик, посетивший Россию летом 1826 г. в свите маршала Мармона, прибывшего на коронацию Николая I, явно прочил себя на роль «летописца», которому предстояло познакомить французов с Россией в поворотный момент ее истории (перипетии престолонаследия, процесс над декабристами, коронация Николая I). И, действительно, в 1827 г. в Брюсселе вышла его книга «Шесть месяцев в России. Письма, писанные г. Ансело г. Сэнтину в 1826 году, в эпоху коронации Его Императорского величества», которая была мгновенно раскуплена и переведена на четыре европейских языка; потребовалось второе издание, оно вышло в том же году в Париже, несколько расширенное и с кратким предисловием.

«Шесть месяцев в России» была первой книгой иностранца, рисующей жизнь страны первой четверти XIX в. в относительной полноте. Из 44 писем, составивших путевые очерки, 38 посвящены России (20 — Санкт-

Петербургу, 18 — Москве). Отдельное письмо большей частью описывает какую-нибудь конкретную сторону жизни (устройство армии, судебная система, женское образование, всеохватывающая регламентация — табель о рангах, роль ломбарда, состояние дорог, придворный этикет и т.п.).

Форма писем к другу (в предисловии он называет Сэнтину своим «лучшим» другом) создавала интонацию раскованную, непринужденную, позволяла апеллировать к пласту общей памяти. Заметим, что позднее и Кюстин для своих дорожных записок предпочел эту форму, с той лишь разницей, что адресовал письма не какому-либо конкретному лицу, а «абстрактным» друзьям. Ансело обращается к Сэнтину с вопросами, напоминаниями об их дружеских спорах, извиняется за повторы, длинноты, слишком натуралистические описания, иногда объясняет источник информации («ты понимаешь, что я излагаю лишь народное мнение») (2. 77), подчас опасается, что «утомил описанием» (2. 404). Однако этот своеобразный «стернианский» план лишен смелости мысли и обеднен отсутствием иронии, что особенно заметно при сопоставлении писем Ансело с «Путевыми картинами» Гейне, начавшими выходить (в несколько урезанном виде) приблизительно в то же время.

Путевые записки Ансело написаны пером опытного прозаика. У писателя цепкий взгляд, он внимателен к миру вещей, с увлечением описывает парады, интерьеры, наряды, в удачных фрагментах бытовые реалии предстают зримо, пластично. Очевидно многое почерпнуто не из вторых рук, а увидено собственными глазами, что, однако, не избавляет от отдельных неточностей и натяжек — неизбежных издержек жанра. Большое место в книге занимает фактологический пласт (Вяземский иронически отмечает пристрастие Ансело к «статистико-топографико-живописным подробностям») (7. 217). В произведениях такого рода сведения часто почерпнуты из туристских справочников и гидов. Не преминул ими воспользоваться и Ансело, в связи с чем П. П. Свиньин выразил в «Московском телеграфе» (№ 21 за 1827 г.) справедливое раздражение. Он уличил француза, что тот, не ссылаясь на источник, многое взял из его книги «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей». Особенно ему досадно, что путешественник «позаимствовал» не из русского, а из французского варианта. Но что же было Ансело

делать? Русским языком он не владел, а воспользоваться подстрочником в таком случае было бы по меньшей мере странно (это же не перевод поэзии).

При описании путевых записок, ориентированных на постижение политической и социальной жизни страны, обычно небезынтересно выяснение позиции автора. Три создателя «русских» путевых записок — мыслители разных взглядов. Примечательно, что, принадлежа к противоположным политическим лагерям де Сталь и Кюстин, оказавшись в России, во многом как бы сошлись во мнениях. Таково парадоксальное свойство самодержавной власти России: сближать путешественников-европейцев противоположных взглядов и превращать их в либералов. Для де Сталь, создательницы (наряду с Б. Констаном) французской либеральной партии, убежденной поклонницы конституционной монархии английского типа, такая позиция естественна. Для нее неприемлемо крепостничество и отсутствие либеральных свобод в России. Возлагая надежды на Александра, как на просвещенного государя, которому, на ее взгляд, под силу провести необходимые реформы, она все же подвергает политическое устройство России принципиальной критике. Однако, избегая резких выражений, она всякий раз стремится уравновесить критику умеренной похвалой (напр.: «В гражданском отношении внутреннее управление в России страдает большими недостатками. Этой нации свойственны энергия и величие, но порядка и просвещения все еще не хватает») (3. 203). Позднее деликатность писательницы отметит Пушкин: «Исполняя долг благородного сердца, она говорит об нас с уважением и скромностию, с полнотою душевною хвалит, порицает осторожно, *не вынося сора из избы*» (1. 11. 27, курсив Пушкина. — Л. В.).

Позиция Кюстина принципиально иная. Консерватор-монархист, в России он становится как бы прогрессистом, и эта роль для него не вполне естественна. Примечательно, что он сам отлично осознает свою непоследовательность: «... в России я рассуждаю как парижский радикал, отчего отнюдь не становлюсь меньше закоренелым аристократом в Париже» (4. 2. 79). Еще любопытней, что в оправдание такой позиции он апеллирует к Жермен де Сталь, напоминая ее *bon mot*: «... во Франции ты всегда одновременно и якобинец и ультра, в зависимости от того, кто на тебя смотрит» (4. 2. 79). Упоминая ее имя, он как бы ставит себя с ней в один ряд (претензия, мало оправданная), а

само «словцо» к нему имеет еще меньшее отношение: диссидент в своей или чужой стране — некоторая разница. В предисловии Кюстин пишет, что три года не мог решиться на публикацию книги (4. 1. XXVI), но авторы путевых записок оставили о России так много незаслуженных «преувеличенных похвал» (думается, первыми в этот ряд Кюстин мысленно поставил де Сталь и Ансело), что он счел себя обязанным «сказать правду» (4. 1. XXVI).

Русского народа автор не заметил вовсе. Его составляют, на взгляд Кюстина, лишь чиновники, полицейские, придворные, всякого рода администраторы и чернь. Он порицает все. Климат, дороги, царь, нравственность дам, православная религия, русское гостеприимство, педагогические учреждения, архитектурные памятники, народные праздники и еще многое, многое другое — все подвергнуто саркастической иронии. Но главный объект поистине беспощадной критики — «империя фасадов», русское самодержавие с его незаконностью и деспотизмом полицейского государства. Хотя взгляд Кюстина односторонний и явно пристрастный, искажающий цельную картину жизни страны, его книга-памфлет обладает неоспоримым достоинством: решительным неприятием всех форм политического деспотизма. Она до сих пор не потеряла ценности, как классическая модель критики любой тоталитарной системы (именно с такой позиции оценивал книгу А. И. Герцен).

Ансело приехал в Россию как любознательный путешественник, свободный от каких-либо политических пристрастий, кроме, разве, одного: его преследует сожаление о постигшей французов в Москве трагедии. Не случайно его письма завершает подытоживающая эту «больную тему» небольшая поэма «Воробьевы горы» (*“La Montagne des Moineaux”*). Во Франции Ансело почитается роялистом и «поэтом-лауреатом», поскольку за свою трагедию «Людовик IX» (*“Louis IX”*, 1819) он был удостоен пенсии в 2000 франков и звания королевского библиотекаря. На самом деле его консерватизм весьма сдержанный, во многом он придерживается просветительских идей. Заметим в скобках, что и его корреспондент Ксавье Сэнтин, поэт, прозаик, драматург начал литературное поприще с поэмы «Счастье научного познания» (1817) и стихотворных дифирамбов «Взаимное обучение» (1820) и «Возрождение литературы и искусств в эпоху Франциска I» (1822). Следуя за просветителями, Ансело провозглашает естествен-

ные права личности (в частности, право светской женщины на равенство в семье). Об этом свидетельствуют феминистская позиция автора и реплики героев в вышедшем через год романе «Светский человек» (*L'homme du monde*, 1828) (15). Забегая вперед, скажем сразу: за книгу «Шесть месяцев в России» он был лишен пенсии и звания королевского библиотекаря.

Можно предположить, что Ансело, отправляясь в Петербург, внимательно прочитал путевые очерки Жермен де Сталь: другой подобной книги о России второго десятилетия XIX в. во Франции просто не было. Хотя мы не располагаем прямыми свидетельствами такого знакомства, косвенные намеки имеются — многие затронутые Ансело темы он продолжает в том же ключе и подчас в похожих выражениях (песни ямщиков, женское образование, продажа крепостных, русская форма галломании и др.). Упомянуть в то время имя де Сталь не рекомендовалось, ее книга «Рассуждения об основных событиях Французской революции» была во Франции запрещена.

Существенное воздействие книги «Десять лет в изгнании» на Ансело все же проявляется не столько на тематическом уровне, сколько в трактовке проблемы национального характера и выработке позиции «объективного» и в то же время «доброжелательного» наблюдателя; важен ее способ видения чужой страны. Однако генетическая связь не бросается в глаза, не лежит на поверхности: иная историческая обстановка, другие проблемы приобрели злободневность, иное положение в России и самого гостя. Примечательно, что первым интуитивно ощутил эту генетическую связь именно Пушкин, что нашло отражение в его мгновенном отклике на приезд француза.

Известие о приезде Ансело в Россию впервые появляется в отделе «Смесь» «Северной пчелы» N 58 от 28 мая 1826 г.: «В здешнюю столицу прибыл один из отличнейших поэтов и литераторов Франции г. Ансело (Ancelot)». Рассказывалось о его занятиях («библиотекарь Его величества короля французского»), о наградах («кавалер Почетного Легиона»), о том, что он «прославился трагедиями своими». В заметке указывалось, что Ансело «привез с собою рукописную комедию под заглавием: "Инкуенито" <видимо, "Инкогнито". — Л. В.>, которая была принята единогласным решением на первом французском театре в Петербурге. Почтенный автор отдал оную здешней французской придворной труппе, в знак своего отношения к

российской столице. Комедия еще не была играна в Париже, и осталась в репертуаре до возвращения автора в Отечество». В «Смеси» N 60 «Северной пчелы» (от 20 мая) рассказывалось об обеде, данном некоторыми здешними литераторами: «на нем присутствовало человек 30 литераторов и любителей словесности, русских и французских». Завершалась заметка сообщением о том, что Ансело, «к удовольствию всех слушателей», прочел отрывки из своей новой комедии.

В 1826 г. Пушкин почти наверняка пристально следил за «Северной пчелой». В ней не только публиковалась статья о «Евгении Онегине» (N 132 от 4 ноября), рассказывалось о петербургском наводнении, о Коломне, о подготовке и проведении коронации (в Москве 22 августа), но и — что очень важно — печатались материалы следственной комиссии по делу декабристов. Он откликается на известие о приезде Ансело весьма оперативно, через неделю после сообщения «Северной пчелы». В письме П. А. Вяземскому от 27 мая поэт не без язвительности писал: «Читал я в газетах, что Lancelot в Петербурге, черт ли в нем? Читал я также, что 30 словесников давали ему обед. Кто эти бессмертные? Считаю по пальцам и не досчитаюсь» (1. 13. 227).

Имя Ансело вызывает в сознании Пушкина ассоциацию с де Сталь, и это не случайно. В годы ссылки Пушкин испытывает интерес к писателям — жертвам деспотизма. Овидий, которому «ни слава, ни лета, ни жалобы, ни грусть» не снискали пощады Августа, оплаканный свободой «властитель дум» Байрон, Данте, умерший в изгнании, жертва гильотины Шенье — все они упоминаются ссылкой поэтом. Это не только общеромантический интерес к непонятой и преследуемой личности, но и внимание к ситуациям, близким самому Пушкину. Жермен де Сталь, «семь лет гонимая деятельным деспотизмом Наполеона» (1. 11. 28), с момента появления ее книги об изгнании вошла в число тех писателей, чьи тени населяют мир ссылки поэта. Случаю было угодно оживить в памяти Пушкина образ знаменитой француженки и предоставить поэту возможность выступить в роли ее защитника.

Ровно за год до приезда в Россию Ансело в мае 1825 г. в N 10 «Сына отечества» появился перевод отрывка из книги «Десять лет в изгнании», подписанный А. М-ов. Автор заметки позволил себе ряд непочтительных заме-

чаний в адрес де Сталь, упрекал ее в «ветреном легкомыслии», в «отсутствии наблюдательности», сравнил ее писания с «пошлым пустомельством щепетильных французиков», назвал ее «барыней». Через некоторое время в «Московском телеграфе» (ч. 111, N 12) появилась статья «О г-же Сталь и о г-не М-ве» за подписью *Ст. Ар.* (Старый арзамасец. — *Л. В.*). Автор статьи писал: «Что за слог и что за тон! Какое сношение имеют две страницы *Записок с Дельфиною, Коринною, Взглядом на французскую революцию* и проч., и что есть общего между щепетильными (?) французиками и дочерью Неккера, гонимую Наполеоном и покровительствуемую великодушием русского императора?» (1. 11. 28). В статье давалась чрезвычайно высокая оценка книги де Сталь «Десять лет в изгнании». Заканчивалась она словами: «О сей *барыне* должно было говорить языком вежливым образованного человека. Эту *барыню* удостоил Наполеон гонения, монархи доверенности, Байрон своей дружбы, Европа своего уважения, а г. А. М. журнальной статейки не весьма острой и весьма неприличной» (1. 11. 29).

Автором перевода и замечаний оказался А. А. Муханов, человек весьма образованный, передовых взглядов, приятель Вяземского, Баратынского и хороший знакомый самого Пушкина. В его заметке было немало справедливых упреков по адресу де Сталь. К несчастью, он выбрал для перевода один из самых слабых отрывков из всей книги, изобилующий фактическими ошибками и весьма поверхностными наблюдениями. Выбор отрывка был определен интересом Муханова к Финляндии, где он долгое время жил, хорошо знал нравы, обычаи страны и был влюблен в ее природу. Его раздосадовала неосведомленность путешественницы, не сумевшей к тому же оценить красоты северной природы. Однако, хотя его критика и справедлива, насмешливый тон был явно неуместен. Автором ответа, скрывшимся за буквами «*Ст. Ар.*», был Пушкин. Из глуши Михайловского он выступил на защиту почитаемой им писательницы. Вяземский в письме от 20 августа раскрыл ему имя его противника: «Ты Сталью отделал моего приятеля, а может быть и своего <...> Александра Муханова <...> Да по делом, хоть мне его и жаль» (1. 13. 224). Пушкин был огорчен этим открытием и отвечал Вяземскому: «Жалею, что о *Staël* писал Муханов <...> он мой приятель, и я бы не тронул его, а все же он виноват. *M-me Staël* наша — не тронь ее — впрочем я пощадил его» (1. 13. 227).

Категория множественного числа существенна, не «моя», а «наша»: де Сталь принадлежит ко всему лагерю передовых людей эпохи. Пушкин и Вяземский не могли не заметить справедливости критики Муханова по отношению к выбранному отрывку. Но де Сталь для них — близкий человек, единомышленник, они испытывают сочувствие к ее трудной судьбе — отсюда такое единодушие в отпоре Муханову. Заметим, кстати, что для подобной полемики от ссыльного Пушкина требовалась изрядная смелость (книга де Сталь «Рассуждения об основных событиях Французской революции» была запрещена и в России, а авторский аноним легко раскрывался). Необходимость защитить почитаемую писательницу пробудила в Пушкине публициста. В его первой публицистической статье, темпераментной и резкой, угадываются стилевые черты его будущих боевых статей (лаконизм, афористичность, насыщенность мыслью), а весь эпизод, как можно предположить, наполнился новым смыслом при известии о появлении в России еще одного французского писателя-путешественника.

Примечательно, что оба события (отпор А. Муханову и приезд Ансело) комментируются поэтом именно в переписке с Вяземским. Известно, что игровое эпистолярное поведение Пушкина, его творческий «протеизм» в какой-то мере связаны с ориентацией на корреспондента, «усвоением стилевой манеры адресата» (13. 17). По живости, вдохновению, раскованности, пушкинские письма Вяземскому в эпистолярном наследии поэта занимают исключительное место. Остроумие Вяземского, его интеллектуализм, мастерское владение живой эпистолярной речью служили для поэта своеобразным катализатором. Пушкин, по-видимому, рассматривал свою переписку с ним как некое литературное задание, что отнюдь не исключало момента спонтанности. Во всяком случае интересующие нас письма Пушкина (о де Сталь и об Ансело) принадлежат к одним из самых блистательных.

В статье «О г-же Сталь и г-не А. М-ве», оценивая ее книгу «Десять лет в изгнании», Пушкин выработывал свои требования к путевым запискам. Приезд Ансело слова привлек его внимание к этому жанру, однако теперь его размышления обогащены прошлогодним опытом. Он угадывает неизбежность появления нового путевого дневника. Поэтому смысловое ядро его письма Вяземскому — необходимость продуманной организации источни-

ков информации для Ансело. По его мнению, ни в коем случае нельзя пустить дело на самотек: «Когда приедешь в П.(етер) Б.(ург), овладей этим Lancelot (которого я ни стишка не помню) и не пускай его по кабакам отечественной словесности. Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда» (1. 13. 279). Пушкин, как можно предположить, уже в это время догадывался, из какого источника получает Ансело свою информацию.

Вторая важная проблема, затронутая в письме, — как относиться к критике своей страны со стороны иностранца. Пушкин сознает, что она желательна, могла бы иметь позитивное значение для отечества, но для него исключительно важно, чтобы она была объективна и облечена в деликатную форму. Как отмечалось выше, образцом такой манеры, на его взгляд, были путевые записки де Сталь. В связи с этими размышлениями возникает необходимость выработки собственной концепции патриотизма. Пушкин отмечает с оттенком горькой самоиронии, что хотя его многое возмущает в родной стране, ему бы не хотелось, чтобы чужеземец разделил с ним «это чувство» (1. 13. 280). Подобную «щепетильность» испытает (но уже после выхода книги Ансело) и Вяземский, но об этом — ниже. Примечательно, что скрытая, как бы «упрятанная» любовь к отечеству прорывается в момент, когда ссыльный поэт преисполнен непреодолимого желания удрать из родной страны: «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу <курсив Пушкина. — Л. В.>, то я месяца не останусь». Мысленно он как бы слышит одобрительную похвалу друга: «Он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай-да умница» (1. 13. 280).

Жанр путевых записок всегда может обернуться инсинуацией, важно не давать для этого повода. Именно в связи с этой мыслью в памяти поэта неожиданно возникает образ де Сталь: «Мы в сношениях с иностранцами — не имеем ни гордости ни стыда — при англичанах дурачим Василия Львовича; пред M-me de Staël заставляем Милорадовича отличиться в мазурке» (1. 13. 280). Имя де Сталь упомянуто мимоходом, по логике эпистолярной болтовни, но важно, что Пушкин ощущает связь двух эпизодов, де Сталь как бы незримо присутствует рядом, поэтому память подсказывает ее имя, пусть даже по незначительному поводу.

В своем предвидении Пушкин не ошибся, и когда через год вышла книга Ансело «Шесть месяцев в России» (она хранилась в библиотеке поэта — б. 139), он, как нам представляется, смог найти в ней немало для себя интересного. Прежде всего, она давала возможность Пушкину мысленно воссоздать атмосферу знакомства Ансело с писателями: «Несколько русских литераторов, узнав о моем приезде в Петербург, захотели доказать мне, что Музы — сестры, и я был обязан их дружелюбному гостеприимству несколькими счастливыми минутами» (2. 45).

В книге содержалась небезынтересная для Пушкина панорама отечественной литературы: «Русский литератор, г-н Греч, один из императорских библиотекарей, ученый филолог, автор грамматики, которая имеет законную силу в России, хотя и не была еще полностью издана, и редактор лучшего журнала в империи («Северной пчелы»), дал вчера большой обед, на коем присутствовали все выдающиеся литераторы, находящиеся ныне в Петербурге. Тут видел я г-на Крылова, который своим прелестным комедиям и еще более басням обязан европейской известностью; его прозвали русским Лафонтеном, и действительно, в его творениях находим простосердечие, прелесть, придающие ему некоторое сходство с нашим бессмертным *добряком*» (курсив Ансело. — Л. В. — 2. 46).

Созданная Ансело картина русской словесности не оставляла сомнений, «из чьих рук» она получена: «Г-н Бургарин <имя записано с ошибкой. — Л. В.>, сотрудник г-на Греча, человек ума весьма замечательного, пишет ныне произведение, коего отрывки, уже напечатанные, приняты были с большим успехом; его название: «Русский Жилблаз» <...>. Здесь эту книгу ожидают с живым нетерпением, и если позволено заранее судить о достоинстве сочинения по мнению автора, то можно утверждать, что в отношении оригинальности картин, тонкости и остроумия наблюдений, книга вполне оправдывает ожидания» (2. 47).

Через год Пушкин вспомнит этот пассаж. Однако в 1828 г. он еще в неплохих отношениях с Булгариным и не разрешает себе прямой насмешки над «скромной» автохарактеристикой автора. И все же от легкой иронии в адрес «ведущих» литераторов он удержаться не может. К этому присоединится насмешка над нарисованной французом по меньшей мере «странной» панорамой русской литературы. В «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях», опубликованных в «Северных цветах на 1828 год» Пуш-

кин с наигранным недоумением изумится: «Путешественник Ансело говорит о какой-то грамматике, утвердившей правила нашего языка и еще не изданной, о каком-то русском романе, прославившем автора и еще находящемся в рукописи, и о какой-то комедии, лучшей из всего русского театра, и еще не игранный и не напечатанный. В сем последнем случае Ансело чуть ли не прав. Забавная словесность!» (1. 11. 54). Но в это время он еще щадит Булгарина. А вот в 1831 г., вспоминая этот отрывок, он не сдерживает своей иронии. В статье «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов», явно имея в виду Булгарина и противопоставляя ему Орлова, Пушкин напишет о последнем: «Он не задавал обедов иностранным литераторам, не знающим русского языка, дабы за свою хлеб-соль получить местечко в их дорожных записках» (1. 11. 208).

Пушкину могло быть небезынтересно прочесть «подробности» и о себе самом. Ансело весьма сожалел, что не сумел познакомиться с Александром Пушкиным, «молодым поэтом, одаренным изрядным талантом, чьи тяжкие ошибки были причиной изгнания его вглубь отдаленной губернии» (2. 48). Примечательно, что желая отобрать характерные для русской поэзии стихи, Ансело, рядом со «Светланой» Жуковского, «Черепом» Баратынского, «Исповедью Наливайко» Рылеева (имя автора, разумеется, не названо), помещает прозаический перевод «Кинжала». Ансело, неплохой поэт, мог бы по подстрочнику перевести и стихами, но, как он пишет, стремление к точной передаче мысли заставило его предпочесть прозу. Надо отдать ему справедливость, перевод изящен и точен (даже Вяземский расщедрился на комплимент: «прозою, но довольно верною и красивою» (7. 221). Судя по авторскому комментарию, видно, что из четырех отобранных стихотворений «Кинжал» вызывает наибольший интерес Ансело.

Пушкин вряд ли не заметил деликатной осторожности гостя, явно опасавшегося нанести ему вред: «Я раскрою тебе его имя, когда мы встретимся, а пока я не должен доверять бумаге, нескромной свидетельнице в России» (2. 306). Однако поэт мог учитывать также и возможность некоей «игры» с читателем, своеобразное «кокетничанье», способ привлечения внимания не столько к ссыльному поэту, сколько к «деликатному» автору (ведь эту деталь можно было бы уточнить и при встрече с другом). Ансело подчеркивает сложность ситуации Пушкина

и уверяет, что даже раздобывание его стихов — трудная задача: «Почитаю себя счастливым, друг мой, что смог познакомить тебя с произведением, которое тут нелегко раздобыть, поскольку автор не опубликовал его, и нет необходимости объяснять по какой причине» (2. 306).

В авторском комментарии, а по существу, первом печатном анализе «Кинжала», Ансело устанавливает прямую преемственную связь пьесы с европейскими источниками: «Республиканский фанатизм, которым одухотворены эти стихи, яростная энергия вдохновившего их чувства, дают представление о том, какие идеи зреют в умах многих молодых людей Московии, какое они получили образование и как множатся связи между ними и различными европейскими народами» (2. 308). Так же, как когда-то де Сталь, француз уповаает на добрую волю царя, однако времена изменились, у кормила — другой государь, за окном не 1812, а 1825 г., иной и путешественник. Изменился и характер надежды: не на истинный либерализм монарха, а на его гибкую, дипломатичную «политичность»: «Да утишит мудрость монарха эту экзальтацию, да успокоит она ее полезными и осторожными преобразованиями системы правления» (2. 308).

Ансело считает необходимым предупредить об опасности настроений молодых бунтовщиков: «Эти идеи пока еще не глубоко проникли; но ими охвачены все те, кого называют в России образованными молодыми людьми, кто знаком с новыми нравами и современными институтами. И пусть не думают, что благодаря своей просвещенности они становятся менее опасными! Подобно их жилищам — кирпичным зданиям, с которых, при малейшем дуновении ветра, обваливается белая штукатурка и покрывающая их краска, у русских под блестящими одеяниями, в которые облачила их скороспелая цивилизация, открывается Тартар» (2. 308). «Кинжал», в его глазах, — выражение того опасного умонастроения, к которому русский деспотизм толкает критически мыслящую молодежь. Анализируя пушкинское стихотворение, автор как бы стремится опосредованно доказать, что заговор — неизбежное следствие неблагоразумной политики правительства. Любопытно, что некоторые обороты мысли здесь почти точно повторяют фразеологию Булгарина. Вспомним его записку «О царскосельском лицее», поданную как раз в мае 1826 г., где обличались «преждевременное честолюбие» лицейстов, «неуместная самонадеянность проповедовать

права, вредные для правительства» (17. 239). Аналогичны и призывы Булгарина к правительству в отношении молодых дворян «осторожными преобразованиями», «мягкой цензурой», «ласковым обхождением» «дать настоящее направление их умам» (16. 580). Это тот случай, когда источник информации восстанавливается без особого труда.*

Позиция Ансело двойственна: он и осуждает заговорщиков, и одновременно восхищается ими. Не случайно его взгляд прикован именно к двум последним строфам стихотворения, где прямо названо имя Занда, заколовшего кинжалом царского шпиона Коцебу:

О, юный праведник, избранник роковой,
О Занд, твой век утас на плахе,
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.

В твоей Германии ты вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе —
И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал.

Ансело близко убеждение Пушкина о необходимости держать всех тиранов в страхе. «Последняя мысль, — пишет он, — меня особенно восхитила: трибунал свободных судей <Ансело имеет в виду Средние века. — Л. В.> прилагал имя жертвы к инструменту мести; но здесь “горит без надписи кинжал” <курсив Ансело. — Л. В.>, он угрожает всем тиранам, кто бы они ни были» (2. 309). Вот как эти строфы звучат в переводе Ансело: «O Sand, martyr de l'indépendance! meurtrier libérateur! Que le billot soit le terme de ta vie, la vertu n'en consacre pas moins ta cendre proscrire; un souffle divin s'y conserve encore; ton ombre courageuse plane sur le pays si cher à ton coeur; elle menace toujours la force usurpatrice, et sur ton auguste mausolée brille, au lieu d'épithape, un poignard sans inscription.»

Стремясь найти точный эквивалент ключевым словам оригинала, Ансело употребляет высокие дифирамбические эпитеты, способные передать якобинскую страстность пушкинских строк: “martir de l'indépendance”, “meurtrier libérateur”, “ombre courageuse”.

* На сходство фразеологии Ансело и Булгарина обратила мое внимание Т. Кузовкина; хочу выразить ей свою признательность.

В России, как известно, «Кинжал» распространялся в списках. *Habent sua fata libelli* — не только книги, но и стихотворения. Парадоксальная ситуация: печатную жизнь пушкинское стихотворение обретает впервые во французском переводе. Не за этот ли перевод, комментарий и самый отбор стихотворения поплатился Ансело пенсией и должностью королевского библиотекаря? Во всяком случае, приглушенная нота сочувствия декабристам ощущается в его книге постоянно.

Тема восстания проходит лейтмотивом через весь путевой дневник. Она исподволь возникает уже в первых письмах в связи с описанием Петропавловской крепости. Сообщая о том, что один из бастионов носит имя ее строителя — Трубецкого, Ансело восклицает: «Нельзя, мой дорогой Ксавье, удержаться от горестного чувства <...> в том самом месте, в котором благодарность Петра I почтила преданность и верность одного Трубецкого, другой Трубецкой томится в глубине темницы, уличенный в заговоре с целью убийства наследника Петра и сокрушения его империи» (2.165). В другом фрагменте, рисуя радостный весенний праздник на Неве, он внезапно вносит в описание трагическую ноту. Замечая среди общего веселья людей, с тревогой вглядывающихся в крепость, он высказывает предположение, что это, вернее всего, близкие или родные осужденных. Он предполагает, что в центре всех их помыслов — «виновники и несчастные жертвы заговора 26-го декабря» (2. 429).

Последние письма почти целиком заполнены темой восстания, судебного процесса и казни. Французы могли узнать из его писем о поведении декабристов на допросах, о реакции их близких (не всегда достойной, зато иногда — героической), о самом акте повешения (вплоть до деталей — разрыв веревки в момент казни). Он постоянно высказывает надежду, что Россия будет развиваться по пути прогресса: «И пусть экстравагантная и мрачная акция нескольких людей не отдалит от этого народа день освобождения, который рано или поздно над ним воссияет» (2. 44).

По трактовке Ансело «декабристской» темы можно составить представление не только о двойственности его позиции, но и о некоторой поверхностности его «либерализма». Он охотно пользуется привычными штампами («здесь нет места счастью, так как нет свободы» (2. 43), «эта нация, состоящая из отпускающих удары и получаю-

щих их» (2. 73). Негодуя против продажи крепостных, он деловито объясняет французам, сколько стоит крестьянин на рынке (от 3 до 4 сотен франков). По-свифтовски реализуя метафору (маркируя иронию курсивом), говорит об особом «российском» виде «людоедства»: этот помещик «съел три тысячи крестьян» (2. 72); во время фейерверка коронации «крестьян было раздавлено в течение вечера на две или три тысячи рублей». Последнюю фразу он сопровождает ироническим комментарием: «многие искренне сочувствовали их владельцам» (2. 375). Казалось бы, Ансело рассуждает о крепостничестве совсем в духе Жермен де Сталь, но все же это — другой уровень мысли, лишенный глубины и философичности, более плоский и мелкий.

С бoльшим успехом он следует за ней в исследовании своеобразия русского национального характера. Ансело охотно сравнивает черты русского и французского национальных характеров, причем часто в пользу первого. Так же, как и де Сталь, он умеет заметить неповторимые черточки в поведении простых людей (мастерового, ямщика, крепостного). Ансело ценит в русских крестьянах презрение к опасности, которое они черпают в чувстве силы и ловкости, их неустранимость. Заметим, что храбрость простых людей (например, «дерзкую удасть ямщиков» — 4. 2. 33) отмечает и все порицающий Кюстин.

Особенно восхищают Ансело такие качества простых людей, как услужливость, мастерство и проворство в работе: кучу инструментов им заменяет один топор, которым они поистине творят чудеса. Он с похвалой отмечает отменную вежливость крестьян, составляющую «странную противоположность с их дикими лицами и грубою одеждою: не только говоря с высшими себе употребляют они учтивые выражения, которых не слышишь во Франции среди низших званий, но и между собою приводят они их при каждом случае: встречаясь, они снимают шапку друг перед другом и кланяются с учтивостью, которая, казалось бы, должна быть плодом воспитания, а у них она следствие природной благосклонности <...>. Знаю, что и у француза есть готовность услужить; но изучая оба народа, замечаешь ощутимую разницу в свойстве их услужливости. Француз, помогая вам, следует своей природной живости, и вы, принимая от него услугу, видите по важности, которую он придает ей, что он знает ей цену; русский услуживает вам по природному побуждению и по чувству

религиозному <...>. Если дело идет о спасении человека, француз осознает опасность и идет ей навстречу; русский видит перед собой лишь несчастного, готового погибнуть. Смелость одного — от ума, неустрашимость другого — в его природе» (3. 276, 281, 282). Заметим, что и Кюстин отмечает вежливость людей всех сословий.

Любопытно, что Ансело различает простых крестьян и городскую чернь: последуюю он изображает весьма критически. Рисуя картину беспорядков, происшедших во время печально известного народного праздника в Москве в честь коронации, он не скупится на краски: «Царь сказал: дети мои, это все вам. Двести тысяч устремились к столам, и в минуту они были опустошены. Все, что было возможно съесть, съедено, все, что можно схватить, разграблено, схвачено, уничтожено со свирепостью, с которой даже трудно составить себе представление; затем чернь обрушилась на фонтаны, откуда вино лилось длинными струями, и у тех, кто находился рядом, пьянящая влага полностью похитила способность владеть собой. До этого момента отвратительное зрелище было не более сгорчительным, чем то, что ежегодно мы видим на Елисейских полях. Однако вскоре беспорядок принял характер более разрушительный. Поняв буквально слова императора, толпа принялась крушить павильоны, амфитеатры, построенные для знати, снабженные креслами и стульями, снятыми у города Москвы. Эти хрупкие сооружения еще не были освобождены от благородных зрителей, когда толпа стала хватать скамьи и сиденья, разрывать занавеси, драпировку, украшения. Кнут <курсив Ансело. — Л. В.> не произвел впечатления. Толпа, у которой алкоголь возбудил жадность <...> разнесла доски, из которых состояли эти длинные галереи <...>. Все это длилось, пока генерал Шульгин, шеф полиции, узнав о грабеже, не явился во главе эскадрона казаков. Но даже кровавая расправа, которую они обрушили на разрушителей, оказалась бессильной. Тогда генерал обратился к пожарникам, расположившимся на углу площади. Он распорядился включить помпы и вскоре, преследуемые казаками, опрокинутые силой воды, жестоко избиваемые, грабители вынуждены были спасаться от двойного наказания, которое их преследовало. Таков был конец, друг мой, того, что здесь называют *народным праздником* <курсив Ансело. — Л. В.>; увы, мой рассказ способен дать лишь слабое представление об этом отвратительном зрелище» (2. 408).

Лейтмотивом в книге проходит мысль о трагедии французов в 1812 г. Единственную причину разгрома французов Ансело видит в пожаре Москвы и выдвигает собственную версию его возникновения. По его убеждению, подожгли не русские (им, мол, не было смысла губить собственные продовольственные склады), не Ростопчин (московская резиденция генерал-губернатора и окружающий его квартал сохранились в целости, и — по логике Ансело — поскольку все кругом было сожжено, большего бесчестия на себя навлечь было бы трудно). Так кто же? Тут Ансело с торжеством первооткрывателя сообщает: «англичане!» Это, мол, они смекнули, как быстрее всего погубить Бонапарта, и, располагая большими деньгами, сумели своевременно «организовать» пожар. Версия Ансело — типичный «антибританский миф», созданный французом, вполне официальный и как нельзя лучше отвечающий чаяниям некоторых его соотечественников.

Российский патриотический «миф», как известно, утверждал, что Москву сожгли русские. Любопытно, что сами англичане придерживались последней версии. «Личный дневник 1812 года» английского генерала Роберта Томаса Вильсона, находившегося в ставке российского главнокомандующего на протяжении всей войны, пронизан убеждением, что Москву сожгли именно русские: «Когда Мюрат вошел в город, уже пылали казенные склады фуража, вина и водки, военных припасов и пороха <...>. Победоносный неприятель надеялся отдохнуть среди богатств и роскоши в ожидании мира, который Бонапарт обещал своей армии еще в Смоленске. Но русские решились на такое возмездие, каковое стало более губительным по своим следствиям, нежели борьба посредством оружия» (16. 132). При всем различии мифов, у них есть общая основа (об этом писал еще Л. Н. Толстой): деревянный город во время войны не гореть не может, и усилия к этому, как правило, прилагают все участники трагической неразберихи.

Книга Ансело при своем появлении вызвала два критических отзыва: П. А. Вяземского в июньском номере «Московского телеграфа» за 1827 г. и Я. Н. Толстого (некогда председателя общества «Зеленая лампа»), издавшего в 1827 г. в Париже брошюру «Довольно ли шести месяцев, чтобы узнать государство? или замечания на книгу г-на Ансело "Шесть месяцев в России"».

Отзыв Вяземского, в основном, отрицательный. Он критикует книгу за разного рода натяжки, преувеличения, за «бесцветный» стиль. Вяземский признает, что многое «описано верно» и автор не был, «как многие из собратий его, движим недоброжелательством к русскому народу и увлечен предубеждениями против России, но зрение его слабо и близоруко <...>. Россия, может быть, отчасти и видна в его книге, но видна как в зеркале тусклом и к тому же с пятнами, которое отражает предметы слабо и темно» (7. 218). С последним утверждением, на наш взгляд, можно не вполне согласиться: разумеется, есть бесцветные фрагменты, но есть и бесспорно удачные (например, о загадочном пристрастии русских аристократов к цыганскому хору, о трагической доле рекрутов, о женском образовании, своеобразный гимн Ансело топору и мн. др.).

Вяземский не смог оценить и того факта, что Ансело сделал попытку нарисовать панораму русской литературы (пусть с «подачи» Булгарина). Хотя картина получилась и несколько искаженной (над чем иронизировал Пушкин), но все же автор книги назвал имена Жуковского, Карамзина, Крылова, Баратынского, дал важные сведения о Пушкине, предложил свой перевод лучших образцов русской поэзии. До того никому из французских путешественников такое и в голову прийти не могло. Жермен де Сталь с пренебрежением отметила лишь подражательный характер русской литературы. Кюстин назвал всего одно имя — Пушкин, наградив поэта весьма нелестной характеристикой — подражателя (“*imitateur*” — 4. 2. 325): «Пушкин позаимствовал манеру письма у европейцев. Я не считаю его подлинным национальным поэтом» (4. 2. 331). Кюстина можно понять, он не знал русского языка, а в переводе поэзия Пушкина теряла самобытность, оставались лишь общие места и штампы романтической поэзии. Кюстин посчитал себя в праве вынести оценку и Лермонтову. Передавая (правда, с чужих слов и не называя имени поэта), историю ссылки Лермонтова на Кавказ, он, преследуя свою постоянную цель обличения русского деспотизма, уверяет, что царская расправа последовала за чуть ли не «верноподданническую» элегию на смерть Пушкина (4. 2. 332).

Бальзак, посетивший Россию в 1843 г. (он сопровождал два месяца Эвелину Ганскую в ее поездках по Петербургу), ни словом не упомянул о русской литературе.

Правда, в его честь и «литературных приемов» не устраивали (как он позднее не без остроумия объяснит, ему досталась оплеуха, которую должен был бы получить Кюстин). Заметим в скобках, что русский поверенный в Париже П. Д. Киселев предлагал своему правительству использовать денежные затруднения Бальзака и предложить ему написать «опровержение клеветнической книги господина де Кюстина» (19. 482). Бальзак отвечал на слухи о будто бы состоявшейся договоренности в письме к Эвелине Ганской от 31. 1. 1844 г.: «Вот глупость! Ваш государь слишком умен, чтобы не знать, что купленное перо не имеет ни малейшего авторитета» (19. 487).

Вяземский мог, казалось бы, больше принимать в расчет и важную для жанра категорию «адресата». Содержание книги, пишет он, «для нас русских нисколько не занимательно» (7. 218). Но она была обращена к французам, и то, что было мало любопытно русским, для соотечественников Ансело могло представлять живой интерес. Критик, на наш взгляд, несколько необъективен, в первую очередь, из-за политических пристрастий. Как известно, Вяземский был горячим поклонником французских либералов: «Мы были учениками и последователями преподавания, которое оглашалось с трибуны такими учителями, каковы были Бенжамен Констан, Ройе Коллар...» (9. 10. 6). Естественна его острая неприязнь к французским «ультра», перешедшим после падения Наполеона в решительное наступление против либералов (например, в 1817 г. раздавались требования казни де Сталь или, по крайней мере, ее высылки из страны). А Ансело — монархист, его трагедия «Людовик IX» вызвала в 1819 г. одобрение роялистов. Вяземского раздражает, что в России француз принял позу защитника свобод: «... либерализма, тем более неуместного, что автор дома совсем не в рядах оппозиции, а либеральничает только в гостях» (7. 217). Вяземский в чем-то прав, но в чем-то и не совсем прав.

Либерализм Ансело, как уже отмечалось, несколько поверхностен, но все же даже за эту хилую «либерально-консервативную» позицию он заплатил потерей синекуры. П. П. Свиньин в письме от 20. 5. 1827 г. Михайловскому-Данилевскому не без злорадства сообщал: «... французский король выгнал его за сие творение из дворца, лишив звания своего lecteur» (10. 66).

По-видимому, тот же упрек, что ему адресовал Вяземский, Ансело заслужил и от французских либеральных

газет. Во всяком случае, объясняя появление предисловия к второму изданию необходимостью восстановить истинную о его статусе в России, он с горечью пишет: «После выхода первого издания книги некоторые газетные листки <...> искажая факты <...>, стали награждать меня такими ярлыками, как *рифмач из посольства, поэт на субсидии*» (“*rimeur d’ambassade*”, “*poète salarié*» — 2. 4). Стремясь убедить читателей в своей полной независимости от посольства, он повторяет, что чувствовал себя в России свободно, ходил — куда хотел, разговаривал — с кем желал, и никому не давал ни в чем отчета.

По-видимому, он, действительно, был озабочен сохранением независимого статуса. Во всяком случае в сообщении «Северной пчелы» (№ 58, от 11 мая) о данном Николаем I свите маршала Мармона аудиенции имя Ансело не упоминается. Можно было предположить, что его попросту не сочли «достаточно важной персоной» (12. 87); однако предисловие ко второму изданию скорее подтверждает его версию: он сам не хотел быть упомянутым. Нежелание считаться официальным лицом было для него принципиальным. Видимо, упреки газет за статус «поэта-лауреата» его сильно задевали. Примечательно, что узнав о пенсии, назначенной царем семье Карамзина после смерти историографа, — поступке, одобренном русским обществом, — он не без горечи замечает: «Сколько насмешек это вызвало бы во Франции» (2. 40).

Возвращаясь к отзыву П. А. Вяземского, заметим, что возможно были и иные мотивы для раздражения, в частности, не исключено чувство тревоги в связи с первым печатным опубликованием «Кинжала» в книге, мгновенно ставшей европейски известной, что могло бы при неблагоприятных обстоятельствах иметь тяжкие последствия для Пушкина (это предположение высказал во время обсуждения моего доклада в Хельсинки В. Э. Вацуро).

Но все же главной причиной неприятия Ансело, на мой взгляд, было оскорбленное национальное чувство Вяземского: неглубокий мыслитель, весьма заурядный писатель, Ансело с явным ощущением превосходства, интонацией поучения судит подчас о мало ему известных предметах, приводит абсурдные анекдоты, к месту и не к месту дает уроки «либерализма». Размышления над книгой приводят Вяземского к довольно безрадостным выводам: «По большей части все напечатанное иностранцами о России составлено из пустяков, лживых рассказов и ложных за-

ключений» (7. 231). Однако, как и Пушкин, Вяземский умеет посмотреть на россиян самокритичным, «остраненным» взглядом: «Впрочем <...> они не умеют смотреть на Россию, а мы ее *показать*» (курсив мой. — Л. В. — 7. 231). Так же, как и Пушкин, Вяземский новаторски стремится выработать философически-обобщенную позицию по отношению к недостаткам своей страны и к их критике со стороны чужеземца: «Таить погрешности свои не нужно; но указывайте на них с патриотическим соболезнованием, а не по расчету личной суетности. Я, признаюсь, был бы рад найти в иностранце строгого наблюдателя и судию нашего народного быта: со стороны можно видеть яснее и ценить беспристрастнее. От строгих, но добросовестных наблюдений постороннего могли бы мы научиться; но от глупых насмешек, от беспрестанных улик, устремленных всегда на один лад и по одному направлению, от поверхностных указаний ничему не научишься» (7. 232).

Таким образом, книга Ансело неожиданно приобрела важное значение как импульс и катализатор идей о ценности непредвзятой критики отечества, увиденного «остраненным» взглядом иностранца. Именно размышления о недостатках и достоинствах книги побуждают Вяземского сформулировать близкую пушкинской концепцию: «Многие признают за патриотизмом безусловную похвалу всему, что свое. Тюрго называл это **лакейским патриотизмом, du patriotisme d'antichambre**. У нас его можно было бы назвать квасным патриотизмом» (выделено Вяземским. — Л. В. — 7. 232). Как справедливо отмечает Н. М. Волович, Вяземский весьма удачно нашел счастливое «словцо-неологизм», перекочевавшее впоследствии прямо «со страницы "Телеграфа" в основной словарный фонд русского языка» (5. 150). Итоговая мысль, предвосхищающая позицию многих русских писателей XIX в. (Гоголь, Белинский, Салтыков-Щедрин, Сухово-Кобылин и др.), выражена Вяземским с впечатляющей силой: «Я полагаю, что любовь к отечеству должна быть слепа в жертвованиях ему, но не в тщетном самодовольстве: в эту любовь может входить и **ненависть**» (выделено мною. — Л. В. — 7. 232).

Отзыв Я. Н. Толстого о «Шести месяцах в России» гораздо более снисходителен. Но и он отмечает рад несуразностей, натяжек, нелепых анекдотов и преувеличений. Вяземский в своей рецензии цитирует фрагменты

из брошюры Я. Н. Толстого (откуда и мы берем цитаты), солидаризуясь с его критическими замечаниями. Однако Я. Н. Толстой видит в книге Ансело и много ценного. Отдавая должное автору, настаивая на мысли, что его книга выгодно отличается от подобного рода путевых записок, Я. Н. Толстой выносит ей высокую итоговую оценку: «На поверку должно по справедливости признать достоинства большей части сочинения г-на Ансело <...>. Впрочем, дай Бог, чтобы все те, кои пишут или будут писать о России, походили в отношении дарования и праводушия на г-на Ансело» (8. 170).

Жермен де Сталь провела в России три месяца, Ансело — шесть, Кюстин — полтора. При этом Кюстин за столь короткий срок побывал не только в Петербурге и Москве, но еще в Ярославле и Нижнем Новгороде, т. е., действительно, как отметил Герцен, изучал страну «из окна кареты». Так сколько же нужно времени, чтобы глубоко постигнуть нравы чужой страны? Я. Н. Толстой завершает брошюру ответом, хотя и выраженном в негативной форме, но вполне позитивным: «<...> книге г-на Ансело не достаает, без сомнения, одной зрелости, а она приобретается только долгим пребыванием: и потому почитаю себя в праве заключить тем, что **шести месяцев не довольно, чтобы узнать государство**» (выделено Н. Я. Толстым. — Л. В. — 8. 170). С этим выводом перекликаются и заключительные слова критического отзыва Вяземского: «Нет нам счастья на пишущих путешественников <...>. Но повторяю, можно ли дожидаться нам от иностранца хорошей книги о России, которую видит он или из коляски, или из гостиных. . . » (7. 232).

Дорожные записки де Сталь Пушкин оценил весьма высоко: «Взгляд быстрый и пронизательный, замечания, разительные по своей новости и истине» (1. 11. 27). Путевой дневник Кюстина он прочесть не мог (книга была опубликована после смерти поэта), но возможна гипотетическая реконструкция оценки: она наверняка была бы отрицательной (вспомним его слова из письма Вяземскому и известное письмо Чаадаеву от 19. 10. 1836 г.). Что касается дневника «Шесть месяцев в России», то, хотя прямой оценки книги Пушкин не дал и в полемику с французом вступить не пожелал, все же два упоминания поэтом дорожных записок свидетельствуют скорее о его невысоком мнении о книге Ансело. Примечательно, что еще не ознакомившись с путевым дневником француза, но

угадывая его скорое появление, в своем первом отклике на приезд Ансело Пушкин, предвосхищая настроенность Толстого и Вяземского, нашел афористическую формулу, сфокусировавшую их будущие размышления об истинном и «квасном» патриотизме: «Я, конечно, презираю отечество с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделит со мной это чувство!» (1. 13. 280).

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Пушкин. Полн. собр. соч.: В 17 т. М.; Л., 1937—1959.
- 2 Ancelot J.-A. Six mois en Russie. Lettres écrites à M. X.-B. Saintines, en 1826, à l'époque du Couronnement de S. M. Empereur. 2-me éd. Paris, 1827.
- 3 Mme de Staël. Dix années d'exil. Bruxelles, 1821.
- 4 De Custine A. La Russie en 1839. Paris, 1843.
- 5 Волович Н. М. Об одной французской книге из библиотеки А. С. Пушкина («Шесть месяцев в России» Ж.-А. Ансело). Пушкин и Москва: Сб. статей. М., 1994. <ч.> 1.
- 6 Могзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина (Библиографическое описание). СПб., 1910.
- 7 Вяземский П. А. Письмо из Парижа в Москву к Сергею Дмитриевичу Полторацкому. Московский телеграф. 1827. Ч. XV. N 11.
- 8 Вяземский П. А. Письмо из Парижа к С.Д.П. // Московский телеграф. 1827. Ч. XVI. N 14.
- 9 Вяземский П. А. Собр. соч.: В 10 т. СПб., 1886. Т. 10.
- 10 Свиньин П. П. Письмо А. И. Михайловскому-Данилевскому от 20. 5. 1827г. // Литературное наследство. Т. 58. М., 1952.
- 11 Вильсон Р. Личный дневник 1812 года // Звезда. 1995. N 7.
- 12 Вольперт Л. И. План Пушкина "L'homme du monde" и роман Ж.-А. Ансело «Светский человек» (мотив «неверной жены»). Studia russica Helsingiensia et Tartuensia. IV. «Свое» и «чужое» в литературе и культуре. Тарту, 1995.
- 13 Вольперт Л. И. А. С. Пушкин и госпожа де Сталь. К вопросу о политических взглядах Пушкина до 1825 года // Французский ежегодник. 1972. М., 1974.
- 14 Вольперт Л. И. Пушкин и психологическая традиция во французской литературе. Таллинн, 1980.
- 15 Ancelot J.-A. L'Homme du monde. Paris, 1827.
- 16 Булгарин Ф. В. Записка «О цензуре и книгопечатании вообще» // Русская старина. 1900. Сентябрь.

- 17 Булгарин Ф. В. 2-ая записка «О царскосельском лицее». Цит. по: Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. СПб., 1908.
- 18 Моруа А. Прометей, или жизнь Бальзака. Алма-Ата, 1990.